

Алексей Митрофанов
Большая Лубянка

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов

**Большая Лубянка.
Прогулки по старой Москве**

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Большая Лубянка. Прогулки по старой Москве /
А. Митрофанов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856711-7

Название «Лубянка», фактически, приватизировано органами безопасности. Достаточно просто сказать «Лубянка», и сразу всем понятно: органы госбезопасности. Говорим «Лубянка», подразумеваем «органы». Можно подумать, кроме них тут никогда и ничего не наблюдалось. Нет, наблюдалось, и притом в большом количестве. Чему, собственно, и посвящена эта книга.

ISBN 978-5-44-856711-7

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

Пыточная	6
Мост зеленой собаки	21
Пляшущий дипломат	26
Простая гимназия	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Большая Лубянка Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2017

ISBN 978-5-4485-6711-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Название «Лубянка», так уж получилось, фактически приватизировано органами госбезопасности. Ведь достаточно просто сказать «Лубянка», и сразу же всем понятно: органы госбезопасности. Говорим «Лубянка», подразумеваем...

Не то чтобы удивляет, все-таки органы эти обосновались тут очень давно, но все равно несправедливо. Можно подумать, кроме них тут вовсе никогда ничего не наблюдалось.

Наблюдалось. Притом в большом количестве. Чему, собственно, книга и посвящена.

И, разумеется, мы, как всегда, не ограничимся одной Лубянкой. Ведь за ней – не менее интересная Сретенка, далее – проспект Мира (бывшая Первая Мещанская), а там, глядишь, и до Лосиного острова рукой подать.

Москва, на самом-то деле, город маленький.

Пыточная

Дом страхового общества «Россия» (Большая Лубянка, 2) построен в 1898 году по проекту архитектора А. Иванова.

В начале Лубянки, там, где сейчас сквер перед Политехническим музеем, некогда располагалось учреждение благотворительное. Газеты нередко помещали анонсы: «Одно из выдающихся развлечений для подростков будет открыто в помещениях бельэтажа громадного дома, что на Лубянке, принадлежащего Императорскому человеколюбивому обществу, заново перестроенного и отделанного.

Гулянья эти откроются с 26 декабря «елкой» в волшебных чертогах «дедушки мороза».

Посредине первой залы дедушка мороз будет изображен сидящим в сугробе снега; в руках своих он держит роскошную елку. Стены залы изображают картину зимы, в снежных сугробах виднеются гроты из мира сказок.

Во втором зале находится театр «королевы льдов» (то есть Снегурочки – АМ), представления в нем будут давать из мира сказок, приспособленных для детского возраста.

Третий зал представляет мир игрушек, «Диво-город»; декорация зала изображает город с постройками из карт, домино и шахмат, вдали бассейн с плавающими игрушечными кораблями, у городских ворот стоят на карауле деревянные солдатики, через ворота вход в роскошный детский буфет, тут и детские игры под руководством наставниц.

В трех залах изображается Венеция во время карнавала, они роскошно иллюминированы и предназначены для танцев и бала ряженных.

Концертная зала изображает фантастическое богатство; играет оркестр музыки и дает представление фокусник».

Пушкин как-то иронизировал: дескать, названием более странным, чем «московский Английский клуб», может быть лишь «Императорское человеколюбивое общество». А когда Пушкин забыл вовремя уплатить членские взносы и от него, чтобы восстановиться в клубе, потребовали штраф, он написал своей супруге: «...В клубе я не был, чуть ли не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь Английский клуб готов продать за 200 рублей».

Тем не менее, Александр Сергеевич бросился искать нужную сумму, нашел и в клубе все-таки восстановился. Видимо, что-то все же привлекало самого известного поэта государства в тех «орангутангах».

Так же и с обществом, человеколюбивым. Не было оно зловещим и коварным. Напротив, занималось человеколюбивыми акциями.

* * *

При Петре Великом здесь, на территории Рязанского подворья, действовала Тайная канцелярия. При Екатерине II – тайная экспедиция, в которой заправлял Степан Шешковский – личность полуполюгендарная, и не сказать, чтоб очень светлая. Славился тем, что сам любил хлестать кнутом подследственных. И хлестал – и Пугачева, и Радищева, и Новикова.

Департамент Шешковского был ликвидирован только при Александре. И в начале девятнадцатого века в здании Рязанского подворья нашли пристанище организации благотворительные – психиатрический и инвалидный приюты. Место как будто бы замаливало свою лихую славу. Но время от времени старина проступала. Вот одно из описаний бывшей «пыточной», составленное ближе к концу девятнадцатого века: «Мне пришлось быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря

на вполне приличную семейную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца.

– Что это за странное здание? – спросил я у чиновника.

– Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, – мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, – этот шкафчик не больше не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя преступников; видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в высоту. А под нами, да и под архивом, рядом с нами – подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

– Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников – Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи; кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво...

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом... Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распорядился всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, – это еще мой отец помнил... и Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим... Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре... Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню...»

Такие дела.

Бывал здесь и вездесущий Гиляровский: «Возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки – и вдруг вижу; дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят.

– Теперь подземную тюрьму начали ломать, – пояснил мне десятник.

– А я ее видел, – говорю.

– Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована... Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованую дверь. Насилу сломали, а за дверью – скелет человеческий...

Как сорвали дверь – как загремит, как цепи звякнули... Кости похоронили. Полиция пришла, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело... Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег... Своды... кольца... крючья...

Дальше было светлее, свечку погасили.

– А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.

– Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

– Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе – иллюстратора Н. А. Богатова.

– Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? – останавливаю его.

– Конечно, я без карандаша и альбома – ни шагу. – Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка вышины, ширины – тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, – двадцать вершков, а в другом – тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались».

* * *

К рубежу двух веков – прошлого и позапрошлого – лубянское домовладение подошло в самом что ни на есть миролюбивом виде. Владимир Гиляровский так его описывал: «В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянской, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравёр и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру пом-

нят старые москвичи, но редко кто удостоивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходящего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян».

Надо сказать, гостиница обескураживала даже видавшего виды «короля репортеров»: «Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «номерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо лужеными и нечищеными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно... В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население меблирашек являлось ни чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли – сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами... Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящич-

ками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем... На стенах – наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева... На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.

В спальне – огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.

Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы».

Актеры же прямо в «тамбовских» номерах тешили друг друга интермедиями:

– А мерзавец Прошка где?

– На нем черти воду возят...

– Ванька малый! Принеси-ка полуштоф водки алой!

– А где ее взять, барин?

– Ах ты, татарин! Возьми в поставе!

– Черт там про тебя ее поставил...

– А шампанское какое у нас есть?

– А которым ворота запирают!

– Что ты сказал? Плохо слышу!

– Что сказал – кобель языком слизал!

– Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?

– Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится – фунт отломится, как павой пройдет – два нарстет... Одна нога хромая, на один глаз косяя, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!

– Ну, это не беда, давай ее сюда... А приданое какое?

– Имение большое, не виден конец, а посередке дворец – два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица. А рожь какая – от колоса до колоса не слышать бабьего голоса!

– Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?

– Пишут, что чуть дышат, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез...

– А где он, старый леший?

– Да уж на том свете смолу для господ кипятит! – слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.

– Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?

– Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди...

– «Батюшка барин сивый жеребец Михаиле Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиней породы вашей милости было довольно». Ванька! Скот! Да это письмо старинное...

– Половину искурили – было длинное...

– Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит...

– А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что!
И показывал барину смачный кукиш.

* * *

Наступила революция – и привычной, вечной, как казалось, респектабельности и уюта словно не бывало. В доме разместилась ВЧК – зловещая организация. Самого дома показалось мало, образовался целый комплекс. Михаил Осоргин писал, ужасаясь: «При правде... лубянской – стали пускать по городу с вещами, ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском – и где доведется...»

Раньше тут жили люди коммерческие и преобладали восьмипроцентные и десятипроцентные интересы. Восемь и десять – огромная разница: восемь – обычное благополучие, десять – относительное богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, знали твердо, что жизнь – только сегодня, что даже и сто процентов – пустяк, что либо весь мир, либо завтра же позорный конец.

Новые люди чуждались веры – или им так казалось. Несомненно – им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренные обыватели приходят сюда с трепетом, просят – заикаясь, уходят – плача, хитрят прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас – яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелостью товарных образцов, сейчас – знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.

При входе – балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, – ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях, – для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Моя жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
Пращай мая весна!

И могила нарисована – высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей – имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память, – как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских ворот: «Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов, по прозвищу Ванька Огонек».

А рядом, в общей камере Корабля, – мелочь: каэры, эсеры, меньшевик со скудной бородкой, в очках, гнилозубый, трус, без огня и продерзости – человеческая тля.

На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, комиссар смерти Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с беспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек – Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом – из меньшевиков, спорщик пишет заявленья, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом – спекулянт, продал партию сапожной кожи – да попался. И еще рядом сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего.

– Здравствуй, Степа. Куда едешь?

– Должно – в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная.

И скоро уведут Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!

Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить, – да не все охотно делят с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки – беспардонный палач, мать родную – и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулок – самое главное, где вся борьба, – Особый отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспредметной тревоги. Здесь надо всем навис и царит и неслышно командует умный и тяжкий гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусивший царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, народный мститель, всю кровь на себя принявший, – имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву – врага народа и революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время в малую камеру с нарами, пересчет в большую – с клопами, во всем известную контору Аванесова, а после, по особой записке, прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшное молчаливое здание Особого отдела, откуда длинные коридоры, колодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская – Лубянская Правда».

Казалось, никогда такое не наступит. Но, однако ж, наступило. От тюрьмы да от сумы не зарекайся. И от того, что пострашнее – тоже.

* * *

Попав в эту тюрьму, человек переставал принадлежать себе. Такое в той или иной степени происходит во всех тюрьмах мира. Но здесь присутствовал еще и элемент некоего «творчества», циничного, таинственного, наводящего на тяжкие раздумья. Сергей Трубецкой вспоминал: «При обыске у меня отобрали все книги, часы, вилку, иглу и даже английскую булавку: все «колющие и режущие предметы», как говорилось в «Правилах». Потом я узнал, что у многих заключенных (особенно у духовенства) отбирали нательные иконки и кресты. Впоследствии митрополит Кирилл Казанский рассказывал мне, как обыскивавший его в ЧК латыш отобрал у него деревянную панагию и деревянный же крест, при этом сентенциозно заметив: «Крест у вас в сердце должен быть, а не на груди». Мне же был тогда оставлен золотой крестильный крест, на золотой же цепочке... Не знаю, чему это приписать, во всяком случае, не забывчивости, так как начальник тюрьмы внимательно посмотрел на мой крест и даже почему-то потрогал его пальцем.

После обыска я был отведен в камеру, где находился еще один заключенный – поляк из немецкой Польши.

В этой камере я пробыл только один день. Тут я впервые познакомился с чекистскими койками – деревянными щитами, сколоченными из нескольких досок с просветами между ними. Щиты эти клались на две деревянные стойки. Полагались нам и матрасы – мешки, сшитые из остатков всяких материй и когда-то набитые соломой. Однако давно уже эта солома превратилась в труху. В сущности, приходилось спать на мешке, набитом приблизительно на треть или четверть его вместимости грязной пылью. Но и такой «матрас» я получил не сразу, а только через 6—7 дней. При этом матрас мне попался удивительно короткий, даже не на маленького человека, а на ребенка: когда я лежал на нем, он хватал мне только от плеча до кости бедра, так что голова и вся длина ног приходилась уже вне матраса. Впрочем, для головы у меня была взята с собой маленькая подушка-думка, а ноги не так уж нуждались в матрасе. Только много позднее, через два-три месяца, я получил матрас почти по моему росту, вне его оставались только голова и ступни ног. Приятно было то, что в тюрьме ВЧК, в отличие от того, что я испытывал потом в других тюрьмах, матрас мой не был испещрен кровавыми пятнами от раздавленных клопов».

Трубецкой описывал и рацион лубянских арестантов первых лет советской власти: «Кормили нас во Внутренней тюрьме следующим образом. Утром давали «кофе», то есть еле окрашенную в кофейный цвет тепловатую воду. Часто вода была вовсе не окрашена, почему «кофе» было скоро даже официально переименовано в «кипяток». Но и «кипятком» эту жидкость, судя по ее температуре, назвать было трудно. Кипела ли эта вода до ее охлаждения, я сказать не могу. Несколько позднее «кипятка» нам приносили «хлебный паек» (или просто – «пайку»). Нам давали от 1/4 до 1/2 русского фунта хлеба в день, то есть от 100 до 200 грамм. Хлеб был, понятно, черный и выпечен с большой прибавкой каких-то суррогатов, придававших ему странный вкус. Однажды, слегка нажав на особенно сырой ломоть хлеба, я выдавил из него какую-то противную синевато-зеленую слизь... Но при настоящем голоде – чего не съешь...

Около полудня (часов у нас не было) нам давали обед: суп и кашу. Супом называлась грязная серая водичка, обыкновенно наваренная на небольшом количестве сильно мороженных картофелин. Часто картофелины в супе бывали настолько черные и сладковато-гнилые, что раньше, безо всякого преувеличения, их бы и скоту не дали. Я прекрасно помню, как у нас в Бегичеве выбрасывали такой «вредный для скота» картофель. Тут же он не только съедался заключенными без малейшего остатка, но как хотелось бы получить его еще и еще! Стоит ли говорить, что картофель был очень плохо промыт, отчего в жестянках и часто ржавых мисках оставался слой земли. Иногда нам давали «рыбный суп», но в таком случае мы получали, обычно, только скелеты мелких рыбок, саму же рыбу съедала стража, бросая рыбы кости к нам в суп. Нельзя сказать, чтобы это было очень аппетитно, но что поделаешь?..

Каша, которую нам давали, была пшенная, очень плохо промытая и очищенная (часто попадались кусочки щебня и т. п.), но в общем, по тому времени, недурная. Плохо было то, что нам выдавали ее только по одной небольшой ложке, то есть примерно треть или четверть порции, которую можно было бы назвать нормальной для человека.

На ужин (часов в 6—7 вечера) нам снова выдавалась миска того же супа, что и за обедом. Часто суп этот бывал еще жиже от щедро прибавленной к нему воды. Каши на ужин не полагалось.

По воскресеньям и праздничным дням (всякого рода революционные праздники, вроде Дня Парижской коммуны) ужина заключенным вовсе не полагалось: в эти дни должен был отдыхать кухонный персонал. Правда, в эти дни за обедом мы получали немного больше супа (но не каши), чем обычно, но оставить его на вечер даже в холодном виде было нельзя, так как миски у нас после обеда отбирались».

А это уже об организации тюремного пространства: «Особенно голодно было на этом пищевом режиме во время холодов в нетопленных камерах. Во Внутренней тюрьме не все камеры отапливались. В отапливаемой камере, куда меня первоначально поместили, я оставался всего один день, на следующее же утро, после ночного допроса, меня перевели в другую.

Камеры во Внутренней тюрьме были очень разные: тюрьма эта была устроена из какой-то третьеклассной гостиницы, но размеры камер были далеко не одинаковы. В нормальные, не тюремные, окна были изнутри вделаны решетки, а стекла густо замазаны серовато-белой краской. Поэтому в камерах было темновато. Еще гораздо темнее сделалось в них потом, когда на окна были наставлены снаружи жестяные щиты-ящички, окрашенные в серый цвет. Свет и воздух могли проникать в камеры только через небольшой продох вверху между щитом и окном; внизу и по бокам просвета не было. Кроме того, сами окна, из-за нелепо вставленных решеток, почти не открывались: можно было лишь чуть-чуть приоткрывать их. Из-за этого, особенно после устройства щитов, в камерах бывало очень душно, а летом в переполненных камерах заключенные подчас просто задыхались. Мне говорили, что людей иногда вытаскивали из камер в полубессознательном состоянии. Сам я этого не видел, но, зная положение, охотно верю».

* * *

Можно сказать, Трубецкому еще повезло. Александра Толстая, дочь Льва Николаевича, так описывала свою первую ночь в этом здании: «Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

– Товарищ! Дайте воды, пожалуйста, – попросила я надзирателя.

– Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений наступала реакция, и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила, в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось, вся камера полна крысами,

«Только бы на койку не влезли, – подумала я, и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

– Что за шум, гражданка? В карцер захотели? – крикнул в волчок надзиратель.

– Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

– Не полагается! – он захлопнул волчок. Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела и сомкнуть глаз, как снова ожила камера. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы

зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку, и вдруг, может быть, потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесах», опять удар, «да святится...» и когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: «И остави нам долги наши...» Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра».

И в этой вот непредсказуемости, в том, что не знаешь – оставят крест нательный или же отнимут, дадут воды или нет, отправят крысам на съедение или не отправят – состоял особенный, мистический кошмар этого места.

* * *

Трагизм положения заключенных Лубянки ощущался во всем. Та же Александра Львовна описывала, как в тюрьме возник пожар:

« – Как будто гарью пахнет? – доктор Петровская оторвалась от пасьянса и выглянула в окно. – Ничего не видно.

Княжна вскочила на подоконник, на решетки. Окно было чуть-чуть приоткрыто настолько, насколько допускали решетки. Пригнувшись к правой стороне, можно было видеть часть двора и левое крыло тюрьмы.

– Я вижу дым! Пожар, может быть!

Одна за другой, мы лазили на решетки, стараясь понять, что происходит. С каждой минутой дым становился гуще и чернее. Горел третий этаж левого крыла. До нас доносились крики, топот бегущих по коридору ног.

– О, Боже мой! – простонала докторша. – Надо собирать вещи! Нас, наверное, возьмут, если загорится тюрьма, – и она стала нервно сдергивать с койки постель и запихивать ее в корзину. – Скорей! Скорей! За нами сейчас придут!

Дым становился гуще. В камере стало серо и душно.

– Я не хочу сгореть живой! Ma foi, non! (Ей-богу, нет! – АМ) – кричала француженка, вытаскивая из-под койки чемодан и швыряя в него в полном беспорядке пудру, платья, косметику, грязное белье.

– Зачем торопиться? Все равно они забудут про нас, – красивая машинистка спокойно соскочила с решетки и не спеша стала укладываться.

– Нет, что вы говорите! Не могут они нас забыть!

– Где товарищи? Les camarades! – кричала француженка, бросаясь к дверям. – Sapristi! Allons donc! (Проклятье! Идемте! – АМ) – она стала с силой трясти дверь, – oh, Mon Dieu! Товарищ, товарищ! Послушай!

Никого не было. Из камер стучали.

– Закройте окно! Мы задохнемся! – крикнула докторша.

Слышны были сигналы пожарных команд, рев автомобилей, крики. Весь этот шум, суета росли, преувеличивались в глазах заключенных, принимая ужасающие размеры. Естественная потребность действия в минуту опасности была пресечена. Мы были заперты. То и дело вскакивали на решетки, сообщая друг другу то, что было видно: бегущие пожарные в золотых касках, красноармейцы, работа пожарных машин.

По-видимому, работали три команды. Дым стал реже. Часть пожарных уехала. Я заняла наблюдательный пост на окне и не слыхала, как красноармеец мне что-то кричал со двора. Он снова закричал. Очнувшись, я увидела направленное на меня дуло винтовки.

– Слезь с окна, сволочь! – орал он во все горло. – Застрелю!»

Оставили бы заключенных взаперти? Спасли? Выпустили нарочно в последний момент, чтоб усилить страдания?

Как знать.

К счастью, все обошлось, и пожар удалось потушить. Разве что в соседней камере скончался от разрыва сердца Осип Петрович Герасимов, бывший товарищ министра народного просвещения Временного правительства.

* * *

Конечно, комплекс на Лубянке вошел и в литературу, и в фольклор. Есенин писал в одном стихотворении:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь...

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и Чека.

Во времена Есенина именно так и писали – не «ЧК», а «Чека». Будто бы в виду имелась не организация и не комиссия, а некий зверь – полумифический, страшный, беспощадный, но уже привычный, вполне свой. Волк. Вепрь. Чудо-юдо. Медведь-полоскун.

Очень страшно – Чека. Между тем, про Чека интересно послушать.

Михаил Булгаков называл лубянский комплекс иносказательно – «пустынное учреждение».

А народ потихонечку складывал анекдоты.

– Какое самое высокое здание в Москве?

– Чека на Лубянке.

– Почему?

– Из него и Соловки видно, и Сибирь.

* * *

Сам же поэт Есенин, кстати говоря, сживал на Лубянке. Он не выделялся особой законопослушностью и сам этот факт признавал, более того, бравировал им:

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за службу граждан сих,

Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Иной раз наряду с простой милицией случалась и «Чека». Сергей Александрович жаловался в одном из писем Разумнику Иванову-Разумнику: «Дорогой Разумник Васильевич! Простите, ради бога, за то, что не смог Вам ответить на Ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло. Я уже собрался к 25 окт. выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК. Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться».

Еще б не огорошило.

* * *

Дело же, по которому поэт попал в застенок, вошло в историю Москвы, как дело Шатовой, содержательницы нелегального ресторана, впоследствии выведенной М. Булгаковым в пьесе «Зойкина квартира».

Это вообще было довольно необычное и яркое событие даже для тюрьмы на Лубянке. Одна из обитательниц ее, некая Мина Свирская, рассказывала: «Летом 1921 г. я сидела во внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке. К нам привели шестнадцатилетнюю девушку, которая приехала к своей тетке из провинции. Тетка содержала нелегальный ресторан. Для обслуживания посетителей она выписала племянницу. Органами ВЧК учреждение это было обнаружено. Устроена засада, всех приходивших задерживали. Задержаны были и Есенин, Мариенгоф и Шершеневич (впрочем, Шершеневича там не было, мемуаристка ошибалась – АМ).

Их привезли на Лубянку. Тетку, эту девушку и еще кого-то поместили в камере, а целую группу держали в «собачнике» и выпускали во двор на прогулку. Я увидела Есенина. Он стоял с Мариенгофом и Шершеневичем довольно далеко от нашего окна. На следующий день их снова вывели на прогулку. Я крикнула громко: «Сережа!» Он остановился, поднял голову, улыбнулся и слегка помахал рукой. Конвоир запретил им стоять. Узнал ли он меня? Не думаю. До этого я голодала десять дней, и товарищи нашли, что я очень изменилась. Окно было высоко и через решетку было трудно разглядеть, хотя щитов тогда еще не было. На следующий день всю эту группу во дворе фотографировали. Хозяйку, матрону очень неприятного вида, усадили в середине. Есенин стоял сбоку. Через некоторое время меня с группой товарищей увезли в Новосибирск».

Сохранились и воспоминания Трофима Самсонова, производившего этот арест: «Трудящиеся красной столицы Москвы строили новую жизнь на заводах, на работе, в клубах, театрах, красных уголках и дома, в быту, а на 7-м этаже в большом красном доме на Никитском бульваре в Зойкиной квартире весело пиროвала кучка враждебных и чуждых рабочему классу людей, выступавших наперекор революционной буре и в отместку ей, частью не понимая, а частью сознательно.

Надо было прекратить это гнусное дело.

Для ликвидации этой волчьей берлоги в Зойкину квартиру у Никитских ворот и явились представители ВЧК. Была поставлена засада. В нее и попали Мариенгоф, Есенин и их собутыльники.

Отправляясь для ликвидации этого вредного притона, мы, конечно, были осведомлены о том, что туда незаметно можно было попасть только по условным звонкам. В квартиру мы пришли вечером, незаметно. Дали условный звонок. Нас впустила сама хозяйка квар-

тиры – Зоя Шатова. Посетителей, невзирая на ранний еще час, было много. Когда мы вошли и тихонько сказали Шатовой, кто мы такие, у нее едва не отнялся язык. По всему было видно, что тревоге ее не было границ. Как птица стреляная, она пыталась, отвечая нам повышенным голосом, дать понять своим посетителям, что в квартиру вошли «непрощенные гости». Но после предупреждения она тяжело вздохнула, махнула рукой, осеклась, замолкла и смиренно присела на стул.

Из закрытых комнат раздавались звонкие и веселые голоса, стук бокалов и пьяное мычание оголтелых людей. «Гости» Зойки не заметили нашего прихода. Мы стали вызывать поодиночке «гостей» в отдельную комнату. Здесь им предлагали предъявить свои документы и отдать переписку, имеющуюся при них. Некоторые безропотно и торопливо спешили выполнить наши требования. Другие, более «храбрые», желали удостовериться, имеем ли мы мандаты от ВЧК на право обыска и задержания: мы удовлетворили их любопытство.

Среди посетителей Шатовой оказались и «представители соседних держав». Они по предъявлении документов немедленно были отпущены нами.

Многие, конечно, возмутились. Например, Григорий Колобов – ответственный работник, выведенный в мариенгофовском «Романе без вранья» под псевдонимом «Почем-Соль». Разговор с «Почем-Солью» выглядел так:

– Ваши документы?

– А вы кто такой?

– Я – представитель ВЧК и имею право задерживать всех тех, кто перешагнет порог этой квартиры.

– Я хочу посмотреть ваши полномочия.

– Пожалуйста.

– Ко мне это не относится. Я ответственный работник, меня задерживать никто не может, и всякий, кто это сделает, будет за это сурово отвечать.

– Буду ли я отвечать, потом посмотрим, а сейчас вы задержаны. Прошу дать мне ваши документы.

– Не дам!!! Вы что тут делаете?! Зачем сюда попали?!

– Зачем я сюда попал, это вполне ясно. Но вот зачем вы сюда попали, этого я никак в толк не возьму. А документы все-таки отдать придется.

– Послушайте, на сколько времени вы намерены меня задержать?

– А на сколько понадобится.

– То есть, что вы этим хотите сказать?

– Я хочу сказать, что вы не уйдете отсюда раньше, чем позволят обстоятельства.

– Меня внизу ждет правительственная машина. Вы должны мне разрешить ее отпустить в гараж.

– Не беспокойтесь, мы об этом заранее знали. На вашей машине уже поехали наши товарищи в ВЧК с извещением о вашем задержании. Они, кстати, и машину поставят в гараж ВЧК, чтобы на ней не разъезжали те, кому она не предназначена.

– Но ведь это невозможно!

– Возможно или нет, но это так, и вам отсюда до ВЧК придется вместе с вашими друзьями отправиться уже в нашем чекистском грузовике.

– Тогда разрешите мне позвонить о себе на службу.

– Никакой нужды в этом нет, на службе уже знают о ваших подвигах.

Впрочем, разговор этот записан со слов самого Самсонова, и не совсем понятно, в какой степени можно ему довериться. Он, к примеру, называл камеры на Лубянке «просторными и светлыми помещениями». Но, как мы уже знаем, существуют и другие версии на этот счет.

* * *

А в скором времени в застенке оказался друг Есенина, поэт Алексей Ганин. С ним все было гораздо серьезнее – некий провокатор, назвавшийся князем Вяземским, предложил Ганину написать обращение к «народам мира» по поводу злодейств большевиков. Обещал отправить обращение в Париж и заплатить какой-то гонорар. Ганин поверил: «Вполне отвечая за свои слова перед судом всех честно мыслящих людей, перед судом истории, мы категорически утверждаем, что в лице господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую, если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и избирательной деятельности, средневековые секты сатанаилов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушение, разрушение и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых все еще не высохла кровь многострадального русского народа, когда по призыву этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооруженные с ног до головы, воодушевленные еврейскими вырожденками банды латышей, беспощадно терроризируя беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намеке на отказ всякий убивался на месте, а от осиротевшей семьи отбирали положительно все, что попадало на глаза, начиная с последней коровы, кончая последним пудом ржи и десятком яиц. Когда за отказ от погромничества выжигались целые села, вырезались целые семьи. Вот откуда произошла эта так называемая классовая борьба, эта так называемая „спасительная гражданская война“».

К Ганину чекисты применили другой метод – заперли в камере и якобы забыли. Долгое время вообще не вызывали на допросы. Конечно, не забыли посадить к нему парочку провокаторов.

* * *

А многие сами приходили в тот дом на Лубянке, прекрасно понимая, что скорее всего в нем же и останутся. Владимир Марцинковский, один из церковных активистов первых лет советской власти, вспоминал: «В назначенный день и час иду на Лубянку. У дверей караульные тщательно просматривают мой пропуск. Поднимаюсь наверх. Ох, эта бесконечная лестница! Недаром сказал Данте: «Тяжело подыматься по чужим лестницам».

Попадают навстречу служащие с портфелями, «советские барышни», т. е. служащие здесь же телефонистки, машинистки; иногда видишь медленно спускающуюся фигуру священника.

Вот и требуемый этаж. Дальше бесконечные коридоры. В них легко заблудиться. Наконец, вот и дверь с нужным мне номером.

Это в отделе по «особо важным делам», – стол, который на местном языке называется «поповско-сектантским». Вхожу... И не знаю, выйду ли обратно.

Карманы моего зимнего пальто сильно оттопырены: в них вещи, необходимые для тюремной жизни, – железная чашка, деревянная ложка, крохотная подушечка, зубная щетка, мыло и полотенце – все, что в случае ареста необходимо в первое время, «до передачи».

За несколькими столами сидят люди в форме защитного цвета... к одному из них направляют меня. Это мой следователь, человек лет 30, бледный брюнет, с добродушной усмешкой на лице. Говорит со мной вежливо и мягко.

Начинается допрос. Сначала снимаются формальные сведения (где, когда родился и т. д.).

Потом выясняются мои убеждения».

Вежливая беседа двух интеллигентов, для одного из которых она может кончиться паршивейшим образом. Он, однако же, прекрасно это понимая, все равно надевает пальто,

засовывает в карманы кружку, ложку и прочие ценности, запирает за собой дверь, садится в трамвай, выходит на нужной остановке. Спокойно, степенно, как будто в гости идет или к доктору.

Потому что понимает – не сбежать, не спрятаться. Сам не явишься – все равно найдут.

* * *

В 1930-е дом надстроили. Убрал попутно украшения с фасада. Действительно, какие украшения, когда комплекс на Лубянке переживал, можно сказать, пик своего кошмарного могущества. Его боялись как никогда раньше.

Казалось, и дальше так будет. Все страшнее и страшнее, без продыху, по нарастающей.

Однако прошли десятилетия, и комплекс на Лубянке сделался одним из символов так называемого «брежневского застоя». Конечно, и в семидесятые здесь могли здорово испортить жизнь любому гражданину. Но ассоциации уже были другие. Не с кровавыми застенками, не с расстрелами под грохот моторов грузовых автомобилей, не с жестокими и изощренными деяниями пытчиков. Нет, в сознании среднего жителя СССР «Лубянка» занималась, в основном, какой-то чушью. Охотой на фарцовщиков (а к фарцовке была причастна почти вся страна, по крайней мере в роли покупателей). Составлением списков «нерекондованных» музыкальных групп (списки эти выходили с грифом ДСП, однако, каждый при желании мог с ними ознакомиться, а катушки с песнями опальных групп заполучить в любом киоске звукозаписи). Вербовкой студентов технических вузов. И так далее.

Да и анекдоты стали несколько иными.

«Телефонный звонок:

– Алло, это КГБ?

– Нет, КГБ сгорел.

Через пять минут снова звонок:

– Алло, это КГБ?

– Нет, КГБ сгорел.

Еще через пять минут:

– Алло, это КГБ?

– Да сколько же можно вам объяснять: КГБ сгорел!

– А может быть, мне очень приятно это слушать!»

Возможно ли было такое в 1930-е?

Исключено.

Мост зеленой собаки

Торговое здание (Кузнецкий мост, 22—24) построено в 1850-е годы.

Дом, стоящий на углу Лубянки и Кузнецкого, состоит как бы из двух частей. Левая, построенная в 1982 году, фактически не представляет для любителей московской старины интереса. Правая же, появившаяся в середине позапрошлого столетия, успела обрасти историей.

А еще раньше, в первой половине XIX века, этот участок был занят весьма обширным домом, в нем, в частности, жил скульптор Иван Петрович Витали, у которого подолгу гостил художник Карл Павлович Брюллов. А у того, в свою очередь, гостил Александр Сергеевич Пушкин, поэт. И почему-то советовал разом все бросить и приняться за огромное эпическое полотно из жизни Петра I. А Брюллов позировал хозяину для бюста (тут очень кстати пришелся художник Василий Андреевич Тропинин, он одновременно с Витали писал портрет с позирующего Брюллова) и ни о чем подобном даже думать не хотел.

Такая вот жизнь русской богемы первой половины позапрошлого столетия.

Кстати, Пушкина сюда зазвал его сердечный друг, Павел Воинович Нащокин. Он писал Александру Сергеевичу: «Уже давно, т. е. так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека; о таланте говорить мне тоже нечего: известен он всему Миру и Риму. Тебя, т. е. твоё творение он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобой познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Каково тебе покажется? Знать, его хорошо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно – он заметил вообще здесь большое чиновничество, сам же он чину мелкого, даже не коллежский асессор. Что он гений, нам это нипочем – в Москве гений не диковинка».

И вскоре Пушкин сам входил в подъезд дома на улице Кузнецкий мост – знакомиться с художником. После чего писал своей супруге в Петербург: «Я успел уже посетить Брюллова. Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного? Невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты пруссака Криднера. Мне очень хочется привезти Брюллова в Петербург. А он настоящий художник, добрый малый и готов на все».

* * *

Незадолго до этого Брюллов представил публике свою известную картину под названием «Последний день Помпеи». Брюллова постоянно чествовали (господин Нащокин явно сгущал краски). Особенно удался акт в Художественных классах. Как сообщал очевидец, «статуи Аполлона Бельведерского, Минервы, Юпитера, украшающие залы, и рисунки учеников, развешанные по стенам, давали значение собранию». Щепкин зачитывал фрагменты из Мольера. Певец Н. В. Лавров пел свежесочиненный Баратынским гимн:

Искусства мирные трофеи
Ты внес в отеческую сень,
И был последний день Помпеи
Для кисти русской первый день.

Тебе привет Москвы радушной!
Ты в ней родное сотвори,
И сердца голосу послушный,
Взгляни на Кремль и кисть бери!

Публицисты мудрствовали: «Москва поняла, что с именем Брюллова соединена первая слава нашего отечества в Европе на поприще искусства... И гостя она приняла со всем радушием своего древнего гостеприимства».

И поэтому фоном к портрету коллеги Тропинин избрал руины и Везувий в дыму. «Да ведь и сам-то он совершенный Везувий», – говорил Василий Андреевич о Брюллове.

Ход, в общем, незамысловатый, но сработал. Портрет имел успех.

* * *

Кузнецкий мост. Некогда здесь и вправду находился мост через реку Неглинку, но после наполеоновской войны 1812 года реку спрятали в трубу. Однако название осталось, и почтмейстер Москвы А. Булгаков шутил:

– Смешно, что будут говорить: пошел на Кузнецкий мост, а его нет, как зеленой собаки!

В девятнадцатом столетии название улицы было нарицательным и тоже связанным с французами. Однако же к войне мост не имел никакого отношения. Дело в том, что здесь располагалось множество французских магазинов, торгующих модной одеждой, книгами, гравюрами, часами и другими изящными безделушками. На вывесках, за редким исключением, одни французские фамилии: парикмахерский салон «Базиль», ресторан Яра, отель Будье, книжная лавка Вольфа, часовой магазин Турнье, винный магазин Доре.

К тому моменту слово «слобода» в одном из своих значений «поселение иностранцев» практически ушло из языка. Никто не принуждал иноземцев жить в определенном месте – строй себе дом, или же покупай, или снимай, где пожелаешь. Тем не менее, к началу девятнадцатого века в Москве образовалась некая микроскопическая Франция – Кузнецкий мост. Михаил Пыляев восхищался: «Кузнецкий мост теперь самый аристократический пункт Москвы; здесь с утра и до вечера снуют пешеходы и экипажи, здесь лучшие иностранные магазины и книжные лавки».

А Петр Вяземский писал в известных «Очерках Москвы»:

Кузнецкий мост давно без кузниц,
Парижа пестрый уголок,
Где он вербует русских узниц,
Где собирает с них оброк.

И вправду, в многочисленных французских модных магазинах на Кузнецком растворялось изрядное количество рублей.

Особенной же популярностью пользовался магазин предпринимательницы Обер-Шальме. Драматург Степан Жихарев возмущался: «Много денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме! Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству; недаром старики эту Обер-Шальме переименовали в Обер-Шельму».

А мемуаристка А. Янькова вспоминала: «Была в Москве одна французская торговка модным товаром на Кузнецком мосту – мадам Обер-Шальме, препронырливая и превкрадчивая, к которой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы, итак как она очень дорого брала, то прозвали ее обер-шельма. Потом оказалось, что она была изменница, которая радела Бонапарту».

И это было правдой – в частности, Наполеон советовался с ней, упразднить ли в России крепостное право или следует оставить все как есть.

Кстати, в то время на Кузнецком не было ни одной вывески, написанной на французском, – их запретил генерал-губернатор Москвы, господин Ростопчин. Действовал этот запрет более двух десятилетий. Лишь в 1833 году Пушкин смог написать своей супруге в Петербург: «Важная новость: французские вывески, уничтоженные Ростопчиным в год, когда ты родилась, появились опять на Кузнецком мосту».

Видимо, для Александра Сергеевича это и впрямь было важно.

* * *

Путеводитель по Москве 1826 года сообщал: «От самого начала сей улицы, то есть от Лубянки до Петровки, вы видите направо и налево сплошной ряд магазинов с различными товарами и большею частью с дамскими уборами... С раннего утра до позднего вечера видите вы здесь множество экипажей, и редкий какой из них поедет, не обоклав себя покупками. И за какую цену! Все втридорога, но для наших модниц это ничего: слово „куплено на Кузнецком мосту“ придает каждой вещи особенную ценность».

Поэт А. Грибоедов возмущался

А все Кузнецкий мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

По утрам же на Кузнецком можно было видеть презабавнейшую сцену. Компания из расфранченных дам и кавалеров неумело подметала мостовую. Это были нарушители порядка, которым по закону полагалась вот такая исправительная повинность, аналог пресловутых советских «пятнадцати суток».

Разумеется, место работ законом не регламентировалось. Это уже была своего рода шалость полицейских – опозорить ненавистных модников не где-нибудь, а именно на самой модной улице Москвы.

* * *

1 июля 1882 года открылась первая московская телефонная станция. Поначалу она обслуживала несколько десятков, а в скором времени – несколько сотен номеров. Ее абоненты проживали в самых престижных районах города.

Как и многие новшества первопрестольной, станция разместилась на Кузнецком мосту, в доме 12, принадлежавшем в то время чаеоторговцу Попову. Кстати, станция отнюдь не украсила облик города – на крыше поповского дома появилась кургузая деревянная башня, от которой в разные стороны протянулись провода. Они шли по воздуху до Театральной площади, к Мясницкой улице, к Петровке, к Сретенке, к Тверской. Сама же станция располагалась на пятом этаже и занимала всего-навсего две комнаты.

Абонентам приходилось платить по 252 рубля в год – деньги по тем временам огромные. Однако неизвестно, чего больше приносило новшество – удобства или хлопот. Ведь связь была ужасной, «барышня» все время соединяла не с тем, с кем нужно, разговор то и дело обрывался. И нередко получалось, что быстрее и дешевле было пользоваться не телефоном, а извозчиком.

Сам телефонный аппарат имел высоту около метра, деревянный корпус и изящностью отнюдь не отличался.

Тем не менее, новинка прижилась, телефонная сеть разветвлялась, плата снижалась, и в 1900 году начали строить для станции специальное здание.

Ближе к концу девятнадцатого века романист Петр Боборыкин писал: «Кузнецкий мост живет еще своей прежней репутацией. Всякий турист, когда попадает в него, не может

не удивляться, что такая неудобная, мало проезжая улица, идущая по довольно крутому пригорку, сделалась самым модным пунктом Москвы. Но в последние годы Кузнецкий мост постепенно застраивается большими домами красивой архитектуры. Движение по нему экипажей и публики весьма оживленное в течение целого дня».

А уже спустя несколько лет эти дома были достроены, и казалось, что они здесь уже целую вечность. Горький писал об улице в романе «Жизнь Клима Самгина»: «Дома, осанистые и коренастые, стояли плотно прижавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю фундаментами».

Он же описал и нравы того времени: «Человек в мохнатом пальто, в котелке и с двумя подбородками, обгоняя Самгина, сказал девице, с которой шел под руку:

– Ну, ладно, три целковых, но уж...

– Конечно, – честным голосом ответила девица. – Меня все хвалят.

А другой человек, с длинным лицом, в распахнутой шубе, стоя на углу Кузнецкого моста под фонарем, уговаривал собеседника, маленького, но сутулого, в измятой шляпе:

– Чорт с ними! Пусть школы церковно-приходские, только бы народ знал грамоту!

В коляске, запряженной парой черных зверей, ноги которых работали, точно рычаги фантастической машины, проехала Алина Телепнева, рядом с нею – Лютов, а напротив них, под спиною кучера, размахивал рукою толстый человек, похожий на пожарного...

Молодцевато прошел по мостовой сменившийся с караула взвод рослых солдат, серебряные штыки, косо пронзая воздух, точно расчесывали его.

– Мы пошли? – спросила Самгина девица в широкой шляпе, задорно надетой набок; ее неестественно расширенные зрачки колюче блестели.

«Атропин, конечно», – сообразил Клим, строго взглянув в раскрашенное лицо, и задумался о проститутках: они почему-то предлагали ему себя именно в тяжелые, скучные часы. «Забавно».

Но уже было не скучно, а, как всегда на этой улице, – интересно, шумно, откровенно распутно и не возбуждало никаких тревожных мыслей».

Кузнецкий становился местом специфическим.

* * *

Конечно, здесь иной раз попадались люди, абсолютно чуждые самому духу улицы. Но попадались случайно, вследствие незапланированных обстоятельств. Сюда, например, как-то раз наведалься один мужик дворовый из семьи князей Кропоткиных. Сам Петр Алексеевич писал об этом так: «Раз, в воскресенье, мы с братом играли одни в большой зале и набежали на подставку, поддерживавшую дорожную лампу. Лампа разбилась вдребезги. Немедленно же дворовые собрали совет. Никто не упрекал нас. Решено было, что на другой день рано утром Тихон на свой страх и ответственность выберется потихоньку, побежит на Кузнецкий мост и там купит такую же лампу. Она стоила пятнадцать рублей – для дворовых громадная сумма. Но лампу купили, а нас никто никогда не попрекнул даже словом».

Можно представить, как несчастный Тихон чувствовал себя на этой улице.

А среди интеллигенции продукция Кузнецкого пользовалась репутацией не слишком-то завидной. В частности, известный коллекционер И. Остроухов писал о статуе «белого генерала» Скобелева: «Мне этот памятник напоминает те группы из серебра, которые часто выставляют в витринах Кузнецкого моста по поводу разных полковых празднований, чествований».

И уж, конечно, многие московские доброжелатели принялись злорадствовать, когда здесь, на Кузнецком, произошла трагедия – дескать, ужо вам, доигрались! А трагедия случилась и впрямь не шуточная: во время строительства рухнул дом №10. Это произошло в 1888 году, и Чехов даже написал о том поэту А. Плещееву: «Сегодня на Кузнецком в при-

сутствии сестры обвалилась высокая кирпичная стена, упала через улицу и подавила много людей». Причина была в том, что кладку вели в сильные морозы, и раствор не мог как следует «схватить» кирпич.

«Под развалинами дома московского купеческого общества на Кузнецком мосту, – писал Владимир Гиляровский, – погребены трупы рабочих... Больницы оглашаются стонами изувеченных, на московских улицах раздается плач голодных семей, лишившихся работников-кормильцев, погибших ради жадности „благочестивых волков“. Катастрофа, созданная экономией московского купечества. Было около трех часов дня, Кузнецкий мост захлебывался от снующих экипажей с барынями, едущих покупать и наряду и обнови, а на лесах новоиспеченного дома стучали рабочие. Дом испечен был скоро, он вырос до третьего этажа на глазах удивленных соседей, торговцев в какие-нибудь двадцать дней. Купеческое общество старалось всеми силами, средствами как бы поскорее выстроить и собрать плату с арендаторов... Дом рухнул... Кто накормит сотни голодных ртов, оставшихся после погибших и погибающих? Кто?»

Суд был громким и шумным, виновным же признали архитектора А. С. Каминского (известнейший адвокат Федор Плевако, нанятый Каминским, не смог ничего поделаться). Было установлено, что он переложил надзор за стройкой на кого-то из своих помощников, а тот, недолго думая, на малограмотных десятников.

Каминского приговорили к церковному покаянию и трехмесячному заключению, которое сначала заменили на арест на гауптвахте, а затем вообще – на домашний арест. Возможно, что одной из основных причин смягчения наказания было родство Каминского с известным галеристом Павлом Третьяковым (зодчий был женат на его дочери). Павел Михайлович, хотя и был человеком глубоко порядочным и справедливым, за родных стоял горой. Не исключено, что он задействовал свои весьма разнообразные знакомства для смягчения участи милого зятя.

* * *

Наступила революция, и жизнь Кузнецкого изменилась. Из улицы знаковой, культовой она превратилась в обычную, каковых в Москве сотни. Разве что Маяковский однажды упомянул ее в стихотворении «Стабилизация быта»:

Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».

Но упомянул как часть маршрута, и не более того.

Пляшущий дипломат

Здание Первого Российского страхового общества (Большая Лубянка, 5) построено в 1906 году по проекту архитекторов Л. Бенуа и А. Гунста.

Сейчас уже практически никто не помнит, что когда-то в этом доме располагалось страховое общество. Которое, кстати сказать, вошло в историю художественной жизни города Москвы. В частности, в 1907 году в этом доме устроили персональную выставку художника Нестерова. Михаил Васильевич писал о ней: «Выставка «для избранных» открылась 14-го. Было немного, но купили в этот день более чем на 1000 р. На другой день (15-го) была выставка открыта для публики, которая идет довольно охотно, за шесть дней перебивало до 1500 человек, почти вдвое более того, что за первые дни было в Питере... Продано по сей день двенадцать вещей – на 5 000 р. В общем перевалило за 20 000 рублей. Из восьмидесяти четырех вещей осталось на руках шесть, а впереди еще три недели. Газеты хвалят: «Московские ведомости» посвятили фельетон черносотенных похвал. «Русское слово» (левое) большую статью, и довольно недурную.

Ходит на выставку много молодежи... студентов, курсисток и т. п. Черносотенцы читают о «Св. Руси» «рефераты».

Третьяковская галерея выставку прошла молчанием (есть слухи, что из-за «Дмитрия Царевича» перегрызлись Серов с Остроуховым)».

То есть попечитель Третьяковки и член ее совета.

Что сказать? Художественная жизнь в те времена была ключом.

Кроме того, в здании на Лубянке находилась так называемая «Фототипия Фишера» – фотоателье одного из самых знаменитых московских пионеров фотографии, «фотографа Императорского Университета и Театров» Карла Фишера. Помимо фотографии он занимался изданием открыток, и на этом поприще Карл Фишер в некотором роде оскандалился – выпустил к юбилею победы над Наполеоном серию открыток с репродукциями Верещагина, при этом репродукций было больше, чем самих картин, двадцать одна вместо двадцати.

«Лишняя» открытка называлась «Наполеон I при реке Березине». Спустя пятьдесят лет нашелся и оригинал – незавершенная картина (видимо, открытка была здорово отретуширована мастерами Фишера), стилистически несколько отличавшаяся от других работ маэстро Верещагина, однако со странным автографом на обороте: «Сим удостоверяю, что картина эта была писана мужем моим художником Василием Васильевичем Верещагиным».

Более тщательной проверкой исследователи пренебрегли, и история с открыткой осталась одной из московских загадок.

* * *

В этом же доме проживал известный гравер Иван Павлов, прославивший себя изображениями уголков старой Москвы. Делал он их, можно сказать, не от хорошей жизни. Михаил Осоргин так описывал ситуацию с теми гравюрами: «Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарисовывал и резал на дереве исчезающую красу деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь на завтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Увозили на санках – только бы не наскочить на милицию.

За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее – захватив и топор. Въедались глубже, разобрал лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка

по щепочке, планка по планке, царапая примятый снег и себя торчащими коваными гвоздями.

Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.

На двух плечах молча плыла балка.

Согнувшись, тащили: бабушка – щепной мусор, здоровый человек – половицу.

И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, – греются люди, варят что-нибудь».

* * *

Вскоре после революции 1917 года здесь расположился Наркоминдел – так до 1946 года называли Министерство иностранных дел СССР. Именно в этом качестве дом вошел в память москвичей. Поговаривали, что нарком Чичерин, получая из Кремля очередной документ с правкой Сталина, созывал в кабинет приближенных и показывал им документ со словами:

– Посмотрите, что нам прислали из шашлычной.

Правда то или нет – неизвестно. Однако же факт, что Чичерин – племянник знаменитого философа, дальний родственник Пушкина и выпускник Петербургского университета очень раздражался, когда его тексты правил Сталин – человек безродный и не получивший толком даже среднего образования.

* * *

А перед входом – памятник Воровскому, одному из первых послереволюционных дипломатов и полномочному представителю РСФСР и УССР в Италии, убитому в Лозанне в 1923 году. Это одна из величайших московских загадок. Памятник поражает москвичей, а также многочисленных приезжих граждан своей более чем невероятной позой.

Описать ее нельзя – такое надо видеть. Полуприсевший на ногах, скрючившийся в поясице, расставивший в сторону руки, растопыривший пальцы, задравший кверху голову... Нет, все равно описать невозможно. Бесполезны попытки. Одно можно сказать – поза у Воровского ни в коей мере не дипломатическая.

Что случилось? Почему памятник вышел именно таким?

История ответа не дает. Существует всего-навсего несколько версий, шуток и легенд. Вот самая серьезная из них. В скульптурной мастерской было жарко, и поэтому восковая модель значительно осела. Но сроки поджимали, восстанавливать ее не было времени, и памятник сделали «сутулым».

Кто-то уверяет, что, по замыслу автора памятника, дипломат изображен в момент убийства. Кто-то доказывает, что под конец жизни он страдал недугом, искажающим его фигуру, нечто сродни параличу. Некоторые искусствоведы уверяют, что мы видим первый, неудачный, а потому последний памятник-карикатуру. И так далее.

Доходило до того, что памятнику дали кличку «танцующий твист», хотя никакого твиста в это время еще не существовало.

Возможно, что в действительности все обстояло много проще. Не было ни дерзких замыслов карикатуры, ни жары в скульптурной мастерской, ни прочих козней. Просто автор памятника, М. И. Кац не был профессиональным скульптором. Он всего-навсего любительствовал, но, поскольку был одним из лучших друзей Вацлава Воровского, именно ему и поручили выполнить монумент.

Статую торжественно открыли в 1924 году на месте свежеразрушенной Введенской церкви. Наркоминдел Г. В. Чичерин, выступивший на церемонии открытия, сказал: «Этот

памятник – продукт самих сотрудников Наркоминдела, увековечивающих память одного из лучших работников нашего комиссариата, советского правительства и нашей партии... Трудящиеся массы Москвы показывают всему миру, что его трагическая гибель была не напрасна, что живет дело, за которое пал товарищ Воровский».

Церемония закончилась «Интернационалом» и парадом «трудящихся Москвы». Странную позу Вацлава Воровского будто и не заметили.

Простая гимназия

Дом спортивного общества «Динамо» (Большая Лубянка, 12) построен в 1931 году по проекту архитектора И. Фомина.

Напротив, на месте нынешнего здания под номером 12, располагалась одна из московских казенных гимназий. Она носила третий номер и была одной из самых неприметных в городе. Не славилась ни либеральным духом, ни, напротив, чересчур консервативным. Этакий типовой середнячок. Тем интереснее ее история – типичная для большинства гимназий города Москвы, да и России вообще.

Третья московская реальная мужская гимназия была учреждена в 1839 году. Некоторое время помещалась в съемном доме на Солянке, в старом переулке под названием Свиньинский. А в 1843 году арендовали дом на Большой Лубянке, который вскоре удалось выкупить.

Кстати, сам дом был «с историей». Ранее в нем проживал Дмитрий Михайлович Пожарский, знаменитый российский герой времен смуты. Правда, биограф Пожарского П. Максимович писал: «Дом его был на Лубянской улице, в приходе Введенный в храм Пресвятой Девы, там, где ныне подворье Макарьевского Желтоводского монастыря и два ближайшие, прикосновенные к оному большие дома, ведущие на Мясницкую».

Но, во всяком случае, преподаватели гимназии не сомневались: именно в этих стенах жил известный русский патриот. Собственно, прав и биограф, и преподаватели. Двор князя Пожарского был обширен и занимал территорию современных владений 12 и 14.

Один из воспитанников, будущий журналист И. Шнейдер вспоминал: «Московская кондитерская фабрика Эйнем выпускала шоколад, в обертку которого вкладывался кусок блестящего картона с многокрасочной репродукцией из серии «Старая Москва». На одной из них был изображен Кузнецкий мост в начале XVII столетия: среди зеленых лужков течет тихая Неглинка. Через нее перекинут деревянный мост, около которого приткнулись две убогие кузницы с пылающими горнами. От моста в гору убегает проселок, облепленный с двух сторон избами и деревянными постройками. И только на самом верху, с левой стороны одиноко высится желтое каменное здание с куполом и флагом над ним. Это дом князя Пожарского. Он простоял столетия, много раз перестраивался, потерял все прежние очертания и сохранил лишь полуподвальный этаж с большими нависшими сводами. В годы моего детства это был большой двухэтажный дом, принадлежавший казенной 3-й гимназии. В таком виде он простоял до революции...

Вся внеклассная жизнь 3-й гимназии кипела «под сводами». Этот термин вошел в быт гимназии, и под сводами» проходила часть дня всех учеников, от пригостишек до восьмиклассников. Туда после звонка, возвещавшего об окончании урока, неслись по железным лестницам с нарастающим гулом и гамом детские и юношеские фигурки в серых форменных костюмах, перетянутых черными поясами с начищенными металлическими пряжками и надписью «МЗГ». «Под сводами» проводились большие и малые перемены между уроками, отдельные длинные коридоры там были отведены под гардероб, где рядами висели серые гимназические шинели с серебряными пуговицами и синими петлицами, обшитыми белым кантом. Там же была тайная курилка, и там же за бывшей длинной партией, покрытой чистыми простынями, в большую перемену торговал булочник от Филиппова.

С 3-го класса мы зубрили латынь, с первых классов начинали «русскую историю», переходя потом из года в год на «древнюю», «среднюю» и «новую». Из-за этого в детских головах оседала какая-то историческая каша, так как в первые годы учения мы были убеждены, что сначала была Древняя Русь, затем Греция, Рим, а потом уже Средние века и все остальное. Только позднее все утрясалось в наших вихрастых головах, и мы не удивлялись

больше тому, что Иван III слал послов в Европу, которая тогда ведь, как нам казалось, еще не начинала своего существования.

Среди классных надзирателей, ходивших в темно-синих форменных сюртуках с золотыми пуговицами и золотыми же поперечными погонами, был худой и высокий, немного кривоногий, чахоточный и добрый человек с козлиной бородкой, которого мы беззлобно звали за глаза «Козлом». Поймав нас в чем-нибудь, он больно ухватывал костлявыми пальцами руку провинившегося, шипел, делал страшное лицо и тарасил большие голубые глаза с кровавыми прожилками, а мы улыбались, да и сам он не выдерживал долго своего грозного, как ему казалось, облика. Он прощал нам все».

И все это – как будто осененное славой Пожарского.

* * *

В соответствии с правительственными распоряжениями в Третьей гимназии предусматривали и так называемые «реальные курсы» – то есть, помимо знаний исключительно теоретических (мертвые языки, история, и прочая, и прочая, и прочая), тут существовали дисциплины и сугубо прикладные – бухгалтерия, механика, коммерческое законоведение. Стране были нужны специалисты.

Дошло до того, что в году в Третьей гимназии был отменен такой, казалось бы, незыблемый предмет, как греческий язык. Вместо него появилось обучение порядку фронтовой службы. Один из выпускников, Г. Б. Ордынский вспоминал: «Для этой цели при гимназии состоял особый унтер-офицер, которому, вместе с надзором за домом и служителями, поручено было обучение фронтовой службе. Ему было назначено 120 рублей серебром в год жалованья. Небольшой садик перед домом гимназии (успевший теперь опять подрасти) обращен был в плац, на котором и производилось фронтовое учение. Я в шутку приводил известные стихи из комедии Грибоедова „...Есть проект...“ и прибавлял к этому, что некогда древние называли поэтов – vates, пророками».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.